

*Ануар Жолымбетов родился в г. Алматы в 1952 году. Образование среднее. Срочную службу проходил в рядах ВДВ, работал строителем по профессии электросварщик-газорезчик, участвовал в строительстве объектов как в г. Алматы, так и на всесоюзных стройках, таких как Курская АЭС, Нижнекамская ГЭС, порт Южный в Одесской области. В 1984 году попал в автокатастрофу. С тех пор – инвалид 1 группы. Неоднократно, начиная с 1986 года, публиковался в журнале «Простор». Женат. Дети, внуки. В настоящее время – пенсионер.*



**Ануар ЖОЛЫМБЕТОВ**

## **КОЖАНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК**

*Рассказ*

*(Из жизни детского отделения психоневрологического дома-интерната для инвалидов. Герои вымышлены и всякое сходство с ними – случайность)*

«Он задумался, поковырял пальцем в носу.  
Ничего особенного, а на душе легче».

Местность была незнакомой, и он растерянно застыл, не понимая, что ему здесь понадобилось и куда теперь идти. Солнце клонилось к закату. В море легли зыбкие, искрящиеся языки красного пламени, перекатывающиеся вместе с волнами, которые вал за валом с грохотом ударяли о крутой и скалистый берег. Было душно, как в тропиках. Порт, что оставался внизу, и город, поднимающийся у него над головой мелкими и крупными пятнами домов, укрывшихся в редкой тени деревьев, слегка покачивались в маревой дымке и, казалось, всё еще тихо изнывали от зноя, от которого не спасали ни близость моря, ни жалкие дуновения ветра.

Внизу, у причалов, под крики чаек, выписывающих на фоне вечерней зари головокружительные кульбиты, пламенели в лучах заходящего солнца несколько шхун и рыбацких фелюг со свернутыми парусами. Тут же на разгрузке стояла баржа с мукой, и обсыпанные ею грузчики, согнувшиеся в три погибели и красные от бликов, разливающих в воздухе, подобно неутомимым муравьям, сновали по сходням с огромными кулями на закорках. Чуть поодаль, у морского вокзала, низенького и безлюдного, и тоже щедро объяттого закатным пламенем, замер маленький двухпалубный пароходик под непонятным заокеанским флагом с вахтенным матросом у трапа, чернокожим верзилкой с прилипшей в уголке рта толстой сигарой. Два-три паровых катера, попыхивая дымком, лениво и неприкаянно блуждали по пустынной, поигрывающей огненными бликами акватории гавани, словно ища себе пристанища.

Он выбрался на дорогу, что вела в город. За обочиной, в горячей пыли, между чахлыми кустиками чия, тонувшими в золотисто-багряном сиянии, в поисках насекомых прыгал жаворонок.

Ступив на узкие городские улицы, мощенные булыжником и изобиловавшие каменными ступенями головокружительных подъемов и спусков, Гоша на мгновение остановился и почесал затылок. Его озадачили ступени, древние и стертые, в которых то там, то здесь тусклыми и кривыми зеркалами поблескивали не совсем высохшие лужицы, в которых отражались небо и стены. Видимо, кто-то из жителей, не вынеся палящего солнца, какое-то время назад окатил себя несколькими ведрами воды, чтобы не спянуть от жары и окончателно не превратиться в копченый окорок. Может быть... Однако, это было не то. Снова не то. Он никак не мог вспомнить, что его сюда привело, в этот город, какие именно проблемы, ведь зачем-то его сюда забросило! Но сколько он ни раздумывал, сколько ни запускал пятерню в коротенькие, взмокшие от пота волосы, сколько ни морщил лоб, ответа так и не находилось. И это ужасно его огорчало. Такое случалось не впервой, когда он оказывался вдали от дома, от родного интерната, в котором жил, сколько себя помнил. Он растерянно огляделся. Всё чужое, всё незнакомое. Балконы, густо и старательно увитые зеленью, готические окна. С одного из балконов низко и опасно свесился какой-то толстяк в ночном колпаке, пристально разглядывая его в лупу, словно какую-нибудь бабочку. Чувство тоски и одиночества переполняло его.

Очередной город у моря. Ничего удивительного. Он перевидел их столько, сколько не наберется в природе. Они являлись к нему в любое время, когда им заблагорассудится, и ночами, проникая в его странные и переполненные событиями сновидения, и среди бела дня, когда он неожиданно застывал, подобно изваянию, и большие, выкаченные глаза его отрешенно замирали. В такие мгновенья в голове у него поначалу тихо, почти не слышно, а после, всё возрастая и возрастая, начинала звучать какая-то далекая, непонятная музыка. К музыке примешивался шум волн, бьющихся о скалы. В глазах начинало рябить от солнца, сверкающего в воде, от множества белеющих в гавани парусов, огромных и маленьких пароходов, барж, лодок, домов, поднимающихся по береговым уступам под самые небеса и, казалось, сложенных из кубиков сахара. Правда, по причине отклонения в психике, о которых было хорошо известно лечащему персоналу, но о которых сам он, понятное дело, не имел никакого представления, он никогда и не задумывался об этой своей особенности. Однако, когда наступало прозрение и его выкидывало из этого удивительного и прекрасного мира в родную и совершенно не радующую действительность, на сердце у него оставалось саднить что-то похожее на разочарование, маленькая и сердитая обида не то на себя, не то еще на кого.

Однажды ему представилось, что он стоит у окошечка кассы морского вокзала, того самого, под боком у которого оставался грустить в одиночестве маленький иностранный пароходик с темнокожим верзилкой, застывшим у сходней. «Куда вам, Георгий?» – устремила на него строгий и требовательный взгляд кассирша, подозрительно напоминающая Маргариту Васильевну, заведующую терапевтическим отделением. Но с ответом он так и не сообразил. Его привело в замешательство, что его назвали на вы, причем впервые в жизни, да еще и полным именем. «Я Гоша, я маленький, мне только восемнадцать», – проговорил он неуверенно. «Ну, хорошо, хорошо, маленький... А куда вам нужно? Куда? В Америку? В Амстердам? А может быть, в Японию?» От такого огромного количества вопросов, заданных ему напрямик, да еще и глаза в глаза, он и вовсе смутился, и щеки его залило жаром. Он беспомощно огляделся, но рядом никого не было, кто мог бы ему подсказать.

Местами улочки, куда его заносило, оказывались настолько узкими и до того скудно освещенными последними алыми лучами заходящего солнца, что булыжные мостовые, по которым ему приходилось ступать между глухими и высокими стенами, напоминали змей, притаившихся во мраке. Иногда казалось, что их каменные спины вот-вот пошевелиятся, выгнутся дугой, и тогда повисшие над ними балконы и окна с распахнутыми ставнями, а также элементы отделки в виде архаичных каменных узоров и изваяний, примутся в панике трещать и ронять кирпичи и штукатурку. Иногда напротив – улочки начинали шириться, да так неожиданно, подобно рекам, разливающимся в весенние паводки, и уже через минуту-другую превращались в просторные и светлые площади, украшенные цветами, окаймленные деревьями, за которыми уходили ввысь многоэтажные и удивительно прекрасные строения, и строения эти при приближении оказывались то роскошными зданиями театров, то жилыми домами, то муниципальными учреждениями, скорее напоминающими сказочные дворцы, возведенные из розового или голубого ракушечника, как, впрочем, и всюду в приморских городах, и были облеплены, будто бы пироги мухами, мелкими и крупными архитектурными изысками минувших и канувших в небытие столетий, и были не такими уж и массивными и несуразными, какими казались поначалу, когда он еще находился у моря и разглядывал город снизу.

Одна из улочек, поднимавшихся в гору, вывела его к аллее платанов. Долгие и бесплодные скитания утомили его. Он решил остановиться в тени огромных, охваченных заревом деревьев, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, и тут ему посчастливилось стать свидетелем красочного и изысканного парада ландо. Сверкая спицами высоких и красиво окованных колес, запряженные разномастными рысаками, они неторопливо катили одно за другим, появляясь неведомо откуда и неведомо куда затем исчезая. В экипажах чинно лицом к лицу посиживали молодые люди в цилиндрах, блестящие, перетянутые в талиях офицеры, горделиво державшиеся за эфесы своих тоненьких, как будто игрушечных шпаг, девицы, ярко накрашенные и снисходительно улыбающиеся под пышными и воздушными перьями своих невероятных шляпок, похожих на облака, легкий и колышущийся дым которых сиял и переливался, оказываясь то в глубокой тени деревьев, то выкатывая на свет последнего, догорающего пламени вечера. Молодые люди покуривали чубуки, длинные, черного дерева, которые поблескивали лаком, и время от времени чему-то посмеивались, военные громко шутили; их зубы и эполеты жарко горели. Девушки смущенно отводили взоры, пряча улыбки в распахнутые веера. Последней простучала карета, огромная, белая, сверкающая позолотой и украшенная причудливым и красочным гербом в виде букета ландышей, которую тянула четверка великолепных белоснежных, как и сама карета, лошадей. С высоких и скрипучих козел важно покрикивал кучер в помятом цилиндре и длинном оранжевом сюртуке, украшенном лампасами.

Но вот вереница экипажей с замыкающей ее каретой исчезла, будто бы растворившись в воздухе, и взору его предстала большая и красивая площадь, мощенная мрамором. По периметру ее один другого затейливее выселись многоэтажные дома в средиземноморском стиле. Солнце уже село, но верхушки платанов, взметнувшиеся над черепичными крышами, всё еще продолжали гореть, хотя совсем уже слабо, словно остывающие угли. Между зданием мэрии и чугунной оградой городского парка, за которой звучал оркестр, под темной сенью деревьев прогуливались отдыхающие. В прощальном пламени зари, далеко, у линии горизонта, таял и всё больше проваливался во мглу краешек моря с парусами и рядами почти уже не различимого судна.

Спустя некоторое время он оказался у памятника какому-то генералу с выставленной вперед огромной ножищей в ботфорте. В кулаке, вскинутом в небо, он сжимал треуголку. «Куда я попал?» – подумал Гоша. В каждом уважающем себя приморском городе обязательно существует подобный памятник. Но этого генерала, отливающего в вышине позеленевшею бронзой, он видел впервые, впрочем, как и парк за чугунной оградой, как и фонтан, у которого он вдруг обнаружил себя в следующую минуту. На краю неба посреди туч, озаренных последним огненным сиянием, что-то мелькнуло. Потом показался журавлиный клин. Курлыча и широко взмахивая крыльями, далекие птицы одна за другой пропадали в бескрайнем закатном зареве. И тут ему почудилось, что там, в небе, он увидел знакомое лицо. Очень и очень знакомое. И оно улыбнулось ему и даже, показалось, что-то шепнуло.

– Нянечка, нянечка! – воскликнул он, одновременно и удивленный, и обрадованный. – Нянечка! Лиля Иванна! Лиля Иванна!..

Но небо уже опустело. Лишь покачиваясь в воздухе, к земле медленно и плавно приближалась парочка белых оброненных журавлями перьев.

И вдруг до него дошло, что ему здесь понадобилось, в этом маленьком и уютном городе, и куда теперь идти. Ведь он мужчина, он любит ее. Она беременна. Она целовала его, а от этого бывают дети. Он просто обязан обеспечить ее будущее. Он сделает ее счастливой, свою несравненную, свою любовь. Для этого-то он и здесь. Он улыбнулся: «Ах, Лиля Иванна! Лиля Иванна!» Но надо спешить, спешить, покуда не совсем стемнело.

Он развернулся и пошел, потом почти побежал и вдруг понял, что ноги несут его сами. Независимо от него. И ноги эти чужие, совершенно незнакомые – сильные, высокие, какие бывают у крупных и могучих птиц: у аистов, у журавлей; они несли его таким стремительным и широким шагом, что минутами ему представлялось, будто бы он – циркуль, порхающий над тетрадными листками. В ушах у него стоял гул. Он не успевал разглядывать в густеющих сумерках ни наименований улиц, ни нумераций домов. Немногочисленные прохожие спешили посторониться. Фонарщик, приставивший свою кривенькую, залитую маслом лестницу к фонарному столбу, которого он едва не сбил, проводил его удивленными глазами. Дети, которых вели за руки мамы и нянечки, показывали на него пальцем. Из окон выглядывали любопытные. На балконах, красиво и празднично увитых цветами и зеленью, толпился народ. Его охватывало ощущение, что он летит. Что он может взлететь еще выше, выше балконов и даже крыш и деревьев. Ведь что ни говори, он тоже птица, – он чувствовал это. Ему было и страшно, и весело. На коньке какой-то старинной крыши, украшенной флюгером, примостилась сова, желтые, огромные глаза которой пылали, смахивая на парочку лун в наивысшей фазе развития. Ночная птица нахохлилась, причем с таким неудовольствием, как будто хотела заметить, что время жаворонков миновало и кого это тут носит в наступающих-то сумерках? А не летучая ли это мышь? При этом глаза ее вспыхивали чистым золотом, сверкая то начищенными британскими соверенами, то старинными дублонами из Испании или даже арабскими дирхемами, извлеченными из мглы какого-нибудь погребения. И Гоше захотелось попробовать их на зуб, как это делают хитроумные менялы или прожженные трактирщики, проверяя на подлинность. Ведь с таким же успехом могли испускать ослепительный блеск и фальшивки, которые не стоили ровно ничего. Но какая-то невероятная сила, которой он не мог управлять, влекла и влекла его между землей и небом, как какой-нибудь древесный лист, подхваченный ветром. «Гоша летит, Гоша летит!» – вырывался у него вопль. На плече у него возник яркий и растрепанный попугай старого морского разбойника Флинта,

видимо, материализовавшийся из фильма «Остров сокровищ», который ему приходилось видеть по телевизору в комнате отдыха. Он тоже кричал, одновременно подпрыгивая и елозя своими подрезанными крыльями у самого его уха, но кричал другое, хрипло и безобразно: «Пиастрры, пиастрры!» «Может быть, и пиастры. Да-да. Почему бы и нет? – обрадовался Гоша. – Друзей надо поддерживать». Попугай еще шире округлил глаза и еще неистовей завертелся у него на плече: «Пиастры, пиастры!» – при этом ужасно сквернословя.

Солнце, уже закатившееся за горизонт, неожиданно вновь наполовину всплыло, озарило полнеба и разбросало тысячи и тысячи огней по всей глади моря, по всем волнам, и ему почудилось, будто бы за спиной у него и впрямь выросли крылья. Натуральные, могучие крылья. Послышался голос, прогремевший по небосклону подобно громовому раскату:

– Будь осторожен, сын мой, не поднимайся высоко, чтобы солнце не опалило крыльев твоих!

– Ладно! Ладно! – рассмеялся Гоша, пролетая над крышами и ветвями деревьев, и его звонкий торжествующий голос несся, казалось, по всей вселенной.

– Что случилось, Маргарет? – старалась докричаться до своей приятельницы с одного из балконов, украшенных хризантемами, некая очаровательная женщина в домашнем халатике и с прелестными локонами, накрученными на папильотки.

– Говорят, в цирке дают представление, – отвечала приятельница из дома напротив, не менее восторженная и обладающая не менее прелестной головкой.

Они складывали ладошки рупором и старались перекрыть гром экипажей, бегущих внизу, по мостовой, безумолчный гомон соседей, детворы, хохочущей и улюлюкающей.

– Приехали клоуны, акробаты!

– Что ты говоришь!

– Да-да! а еще и слоны, и тигры, а с ними и индийский факир! Настоящий!..

– А я, будь моя воля... – вклинился в разговор хриплый, пропитый бас какого-то заросшего и растрепанного мужчины, вывалившего на балкон в одном лишь белье. – А я, будь моя воля, непременно затащил бы этого парня на кружку настоящего рома, чистого, как слеза, благоухающего, как цветы, который просто мозги вышибает! О, он бы у меня так полетел, так полетел, разрази меня гром!

Женщины негодовали.

– Нет, кому что! Кому что! а этому лишь бы нализаться!..

– Алкаш!.. Правонарушитель!..

– Нет, вы только поглядите! Только поглядите! Он уже с утра не в себе!

– И как только не стыдно? Куда смотрит полиция?

– Ох-хо-хо, какие мы благовоспитанные!

В ювелирной лавке его встретили вежливо, как дорогого клиента. Хотя были несколько шокированы его ярким, необыкновенным нарядом.

– У нас что, в городе карнавал? – любопытствовала продавщица, молоденькая блондинка в белом переднике с аккуратным кармашком чуть ниже груди. Она сделала книксен и приятно ему улыбнулась.

Блеск витрин поразил его. Под стеклами от стены и до стены сверкали и переливались в голубых, колеблющихся отсветах ламп разложенные по полочкам серьги, колье, цепочки, браслеты, бусы. Он ничего не смыслил в драгоценностях. Совершенно ничего. Он знал только одно: всё, что находится в этом магазине, должно принадлежать ему, вся эта горячая и переливающаяся мас-

са из янтаря, яшмы, кораллов, драгоценных камней, золота, серебра. У него и чемоданчик был наготове. Маленький кожаный чемоданчик.

– Карнавал? Где карнавал? Уже? – удивленно полюбопытствовал толстый невысокий господин, внезапно появившийся в зале из боковой двери. Наверное, сам хозяин. Гоша никогда не видел этого смуглого горбоносого толстячка с черными выкаченными глазами, похожими на бараньи. На голове у него алела феска с кисточкой, болтающейся у его кудрявого с сединою виска.

«Турок? – удивился Гоша. – Откуда здесь турок? Куда я попал? Неужели в Стамбул? Вот это дела!»

В Стамбуле, известном по всему миру своими тайными притонами, которые просто кишели женщинами легкого поведения и грозными могучими пиратами в чалмах и шляпах, усы и брови которых свирепо топорщились, а огромные брюха были увешаны мушкетами вперемешку с ножами и саблями, ему уже приходилось бывать. «Но может быть, это и не Турция, – подумал он, – а например Марокко, Тунис... Там тоже всего этого хватает...»

Откуда-то сверху по лестнице, придерживаясь перил и потряхивая черными кудряшками, ловко сбежала девочка лет семи, тоненькая, смуглая, в легком с оборочками платье.

– Ой, какой хорошенький попугайчик! Какой попугайчик! – воскликнула девочка. – Я тоже хочу попугая! А как его зовут?

В одном из зеркал (а их в магазине было немало, круглых, овальных и прочих, предназначенных для покупателей), в одном из таких зеркал, наткнувшись на свое отражение, Гоша вдруг обнаружил, что он – не совсем он. И даже вовсе не он. Лицо его скрывала жуткая, театрально расписанная маска с длинным и прямым, как кол, журавлиным клювом, на плечах его вспыхивал пунцовыми переливами плащ, какие носят графы и принцы из сказок и приключенческих сериалов, в который он был закутан; на ногах – ботфорты, как будто заимствованные у бронзового генерала, которого он давеча видел на площади. Но больше всего его поразили глаза. Тяжелые, колючие, полные презрения, какой-то невероятной злобы, они настороженно наблюдали за ним, за Гошей, из узких миндалевидных вырезов. «Какие они страшные, – удивился он. – Неужели это мои?» В иссиня-черной глубине по обе стороны длинного костяного клюва глаза эти горели неистовым, поистине каким-то адским пламенем, как если бы в них вселился дух, вырвавшийся из самой геенны. «Ох, Лиле Иванне они бы не понравились», – поморщил он нос... Но ведь всё это ради нее. Ради их любви! Ради их будущего!

Он вынул из-за пояса огромный пластмассовый бластер, подаренный ему около года назад в рамках благотворительности, лоснящийся округлыми синими и оранжевыми боками, с которым он никогда не расставался, направил его вверх и, не задумываясь, нажал на курок. Бока его вспыхнули, замигали, внутри что-то зажужжало, и из ствола вырвался длинный, слепящий луч.

– Экспроприация экспроприированного! – закричал он в дыму, наполнившем залу.

Луч бластера разнес половину потолка, и сорвавшийся сверху огромный кусок штукатурки грохнулся об пол и разлетелся в пыль. Поднялись визг, верещанье.

– Деньги! Драгоценности!

– Пиастры, пиастры! – бешено хрипел попугай.

– И пиастры тоже! – подхватил Гоша.

Он уже собирался вырвать у ополоумевшего хозяина свой чемоданчик, куда тот, дрожа и мокрый от ужаса, побросал всё, что выгреб из-под осколков витрин, уже готов был ринуться к двери, куда с криками: «Отступаем!

Бежим!» – хлопая крыльями, рванул уже попугай, как вдруг перед глазами его всплыли белые, стерильно чистые стены, капельница, застывшая у изножья кровати, блеснуло окно, забранное решеткой. За окном он увидел серые, безрадостные краски раннего утра, тихого, предрассветного. Увидел, что потолок вверху, который только-только был разнесен выстрелом, совершенно цел. Куда-то исчезли прилавки, витрины с драгоценностями, онемевший и дрожащий с перепугу хозяин в турецкой феске, и тут до него дошло, что он просыпается.

– Тысяча чертей! – выругался он. – Тысяча чертей! – и поторопился крепко зажмуриться, попытавшись, если не вернуться в сон, такой замечательный, такой удивительный, то хотя бы вернуть чемоданчик, но только услышал, как тихо и знакомо прошелестели листья склонившегося за решеткой клена, где-то неподалеку протяжно и с задором проголосил петух, раздались крики осла, блуждающего в лабиринтах старого, глиняного азиатского городка, на окраине которого располагался интернат: «И-а-а-а!.. И-а-а-а!..»

Всё потеряно, подумал он, расстроенный. Всё потеряно.

За окошком светало, и на фоне бледного, слегка разбавленного мрачными, фиолетовыми красками небосклона, ветки старого дерева, по причине ранней весны еще не успевшие как следует одеться и терпящиеся об оконную решетку своими редкими пятипальными листьями, начинали вырисовываться всё более и более отчетливо, и тень от них частично легла уже и на соседнюю, свободную и аккуратно застеленную кровать у противоположной стены, на тумбочку, приткнувшуюся у ее изголовья.

Гоша откинул одеяло, взглянул на свои ноги, коротенькие и неразвитые, покоившиеся коленка к коленке двумя тонкими, кривыми и почти безжизненными отростками, похожими на сосиски, только немного побольше, на которые ему никогда не встать. Снова накрылся. Горло давила повязка, от которой неприятно пахло лекарствами. Он вспомнил, что у него ангина. Захотелось плакать. По щекам его покатались слезы. Ни чемоданчика, ни драгоценностей, ни замечательных ног, сильных и быстрых, которые поднимали и носили его в воздухе, подобно ветру. Шмыгая носом, потянулся под подушку, достал любимый свой бластер, из ствола которого, казалось, вились еще колечки дыма. Вспомнил, как герои из звездных войн, безупречно владевшие этим фантастическим оружием, в два счета разделялись со своими врагами. Надавил на курок, бластер щелкнул, заиграл огоньками. Приотворилась дверь, и в палату заглянула дежурная медсестра.

– Ты что, проснулся? А что так рано? Спи еще.

И Гоша окончательно смирился, что он уже не во сне, что дома, в изоляторе, куда его поместили третьего дня.

Он задумался, поковырял пальцем в носу. Ничего особенного, а на душе легче.

Где-то неподалеку тишину утра прорезал громкий, странный металлический звук, как если бы в небе мучительно и возмущенно простонали ржавые дверные петли.

В лечебнице время от времени слышали эти звуки, но мало кто понимал их природу. Звуки эти возникали неожиданно и почему-то всегда в районе отделения электрошоковой терапии. После чего незамедлительно над корпусом 4 «А», в котором содержались буйные, поднимался яростный крик: «Подонки!.. Сволочи! Вывести за угол и расстрелять!.. Всех до единого! Всех до единого! Вывести и расстрелять! Подонки! Сволочи!..» Крики сменялись стонами, но голос уже был другой, а стоны едва различимы, и стоны эти, казалось, испускало какое-нибудь жалкое, крохотное существо, никому неведомое, мокрое от росы, прячущееся где-нибудь в траве под забором и поводящее вокруг угасающими глазами.

Гоша догадывался об источнике этих звуков. Всему виной неразлучная парочка – электрошоковая кровать, оглохшая от человеческих воплей, и Фюрер, сумасшедший из взрослого отделения, угрюмый и злобный, как бультерьер. Поговаривают, у Фюрера – саркома, и ему недолго осталось. А еще у него фишка посылать всех на фронт. «Окопались? Зажирели?.. В окопы! На передовую! Всех, всех! – Бегают на прогулке между больными, глаза горят, тычет черным, высохшим кулачком: – На фронт! На фронт!.. И тебя! И тебя! А этого к стенке! К стенке, я говорю! Куда бежим! Куда! Ах ты, мать твою!..» А как разойдется, начнет материться, его тут же под белы ручки и в корпус 4 «А» на электрошоковые процедуры.

Однако на этот раз странные, пугающие звуки продолжались недолго, а криков и вовсе не последовало. Настала полная тишина. За окошком, подхваченные свежим утренним ветерком, лениво шелохнулись редкие пятипалые листья. Серое небо медленно, но неуклонно наливалось розовым флером, начинало теплеть.

Гоша еще раз с удивлением взглянул на пустую ладонь, на пальцы, которые еще совсем недавно сжимали кожаную ручку заветного чемоданчика, разочарованно улыбнулся и сунул бластер обратно под подушку.

Если это и вправду утро, подумал он, то из громкоговорителя, что установлен под директорским балконом, вот-вот загремит фортепианная музыка, бодрый, наигранный голос далекого и невидимого диктора произнесет: «Говорит Москва. Доброе утро, товарищи! Начинаем производственную гимнастику...» И всё больные, кроме буйных и паралитиков, еще сонные, кутающиеся в застиранные халаты и подгоняемые ленивыми толчками санитаров, вывалят во двор, образуя серую и недовольную массу из наголо остриженных мужчин, женщин, детей, подростков. Прячась за спинами, кто-нибудь понаглее закурит, выпустит струйку дыма и, опасливо озираясь, спрячет окурочек в рукав, на что отваживаются обыкновенно алкоголики или наркозависимые, которым скоро выпишываться; некоторые поспешат завалиться в кусты, досматривать сновидения, от которых их оторвали, наплевав на палки и кулаки санитаров; а кто-то и впрямь, неумело и невпопад командам, льющимся из громкоговорителя, со всей ретивостью примется маршировать и производить какие-нибудь энергичные и немислимые по сложности телодвижения. Гоша знает таких. Эти уж точно из чокнутых: олигофрены, дауны. Иногда на балконе может появиться и сам директор, Аркадий Исакович, с растрепанными волосами, в таком же, как у всех, замызганном халате, позевывающий в ладошку, такой же хмурый, как и прочие, собравшиеся внизу. Произнесет в мегафон небольшую речь, типа: «Товарищи больные, не забывайте, наша общая с вами задача, чтобы вы выздоровели. Вы еще нужны родине! Родина ждет вас!..» Постоит, почешется, помнет залежалые бока, а там – и обратно. На втором этаже у него кабинет, в котором он нередко остается на ночь. Или перейдет на другой балкон, на противоположной стороне, что выходит в парковую зону, за которой расположено больничное кладбище; и там, в полной тишине с видами на далекие кресты иobelisks, проглядывающие сквозь ветки деревьев, образующих небольшую рощицу, он завалится в кресло, развернет прессу, закурит. Секретарша Сонечка принесет ему кофе.

Лично его, Гоши, всё это никак не касается; в отделение его выпишут не скоро, и он, поправив под головой подушку, снова тихо и с удовольствием засопел. Фюрер, которого он, как и многие, слегка побаивался, директор, санитары, которых стоило опасаться, электрошоковая кровать в кабинете одноименной терапии в корпусе 4 «А», которая не совсем кровать, а оборотень, чудовище, питающееся человеческой болью, кладбище за директорскими окнами – всё

это было так далеко, так призрачно, что, казалось, и вовсе ничего из себя не представляло, и ему было нисколько не страшно.

А вот чемоданчика жалко, подумал он. Как же он так оплошал? Да и ног жалко. Эх, хорошие были ноги. Журавлиные. Ему бы такие!.. А вот родился бы журавлем... Да-а, было бы неплохо...

Скоро его сморило, потянуло в сон. Утренний сон всегда как-то по-особенному сладок. Как вдруг его встревожило подозрение, что на койке напротив кто-то сидит. Не такая уж она и пустая. Затаив дыхание, он робко повернул голову. Старик! В истлевшей пижаме... Похоже, мертвец... Глаз у него не было. Они давно вытекли, и старик пристально и беззастенчиво вглядывался в него своими черными пустыми провалами. Череп у него был гол, как если бы его обглодали собаки. По краям его осклизлыми лоскутьями еще лепились остатки кожи, из которых то там, то здесь, будто бы перья, топорщились редкие, свалявшиеся волосы. Гошу так и передернуло. Рассказывали, будто бы в этой палате когда-то давным-давно погиб какой-то пожилой шизофреник. Ударился головой о батарею и погиб. Вообразил себя быком, разогнался и боднул ее изо всех сил. И вдруг Гоша услышал хруст, потом второй, и увидел, как по черепу старика стремительно побежали трещины, в которых забурили ручейки крови. А в следующее мгновение и в трещинах, и во мраке глазниц, и в прорехах пижамы, переползая с кости на кость, сверху и донизу с противным шуршанием уже затрещали, зашевелились белые, жирные черви.

Старик колыхнулся, как колыхнется столб дыма, и весь в крови, весь в червях, вылезавших из истлевшей и обвисшей лохмотьями пижамы, приподнялся в воздухе и завис у него над кроватью; потом потянулся к нему своими неестественно белыми, обглоданными кистями рук, и с кистей этих на Гошу закапала кровь

– Чур, меня, чур! – пролепетал Гоша с вылезавшими от ужаса глазами. Главное не креститься, нет-нет, главное не креститься, не то черный одноглазый дядька на вороном коне, являющийся откуда-то из глубины ада, отрежет руку. И нырнул под одеяло. У них, в детском отделении, все боятся этого дядьку.

И тут он вспомнил о бластере. Бластером кого угодно можно пошинковать, как капусту. Великие джедаи, герои космических войн, в своих захватывающих путешествиях по просторам вселенной именно так и поступали. Он сам это видел, по телевизору. Но бластер-то под подушкой. Если он вздумает за ним потянуться, старик сцапает его. И Гоша затих, боясь пошевелиться.

Когда он наконец отважился высунуться из-под одеяла, над ним никого не было, а койка напротив оказалась пуста. Мало того, на аккуратно заправленной постели он не увидел ни единой вмятины.

Вот черт, подумал Гоша. Наверно, почудилось.

Скоро он успокоился. Призраки, демоны, зеленые человечки здесь, в психушке (как сами же больные, не видя в этом ничего предосудительного, привычно и упрощенно называли свой интернат), не такая уж и редкость. На то она и психушка. Правда, не всякий их видит. К примеру, врачам и персоналу этого не дано. По крайней мере, он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из персонала заговаривал на эту тему.

Он повернулся на бок, закрыл глаза и, еще чуточку пожалев и о чемоданчике, и о том, что не родился журавлем или еще кем с длинными и мощными ногами, не заметил, как снова провалился в сон. Губы его раскрылись, нижняя, как обычно, свесилась на подушку, и по ней, как по желобу, покатились слюна, образуя на подушке лужицу, покрытую пузырями, и пузыри эти, сияющие перламутром, в такт его дыханию то опадали, то вновь поднимались. Стонов и криков над корпусом 4 «А» больше не последовало, и для страха,

который еще некоторое время продолжал его беспокоить, уже и вовсе не оставалось причин.

Проснулся он, когда солнце поднялось достаточно высоко, и пронизанные его лучами листья за решеткой, казалось, вспыхнули и повисли прозрачными зелеными огоньками, а еще через минуту-другую солнце, пробившись сквозь них, брызнуло ему в лицо. Минуту-другую он ничего не видел, как если бы ослеп. Какая-то тень склонилась над ним. «Кто бы это мог быть?» – подумал он. И вдруг вновь испытал ощущение ужаса, вообразив, что это всё тот же старик. Вспомнил о бластере, но выхватить свое безотказное оружие не успел.

– Бери его, – скомандовала тень и отпрянула в сторону, и он оказался в больших, крепких руках.

Кровать его с помятой постелью стремительно полетела вниз. Там же, далеко внизу, обшарпанными и выцветшими узорами линолеума наклонился пол. Рядом с кроватью он увидел свою тележку, на которой передвигался, пару ремней, которыми к ней пристегивался. На мгновение ему почудилось, будто бы он опять летит, опять взмывает куда-то в небо, как если бы его сон, его удивительный, его замечательный сон, где он не хуже какой-нибудь птицы парил над крышами, неожиданно вернулся и вот-вот перейдет в действительность. Он даже почувствовал в груди, в области сердца, что-то теплое и волнующее, что-то такое, что вот-вот сулило перерасти в захватывающую и непомерную радость, в ликование. Но отчего-то не мог пошевелиться, до того крепко сжимали его крупные, мускулистые руки.

Он замычал, задержался:

– Бластер! Бластер! – завопил он испугано.

– Гоша, да сколько уже можно! Ты что, ребенок? Господи, ну кто бы мог подумать, что этому идиоту уже восемнадцать!

Чьи-то пальцы, причиняя ему боль, пытались насильно раздвинуть ему губы.

– Гоша, открой рот, открой, тебе говорят, не вертись.

На язык ему упала таблетка, потом еще одна, и вязкая, медленно растекающаяся во рту горечь потянулась ему в гортань.

«Что они делают? Бедный Гоша! Бедный, бедный!» – носилось у него в голове. Он не мог сообразить, что происходит. Кто эти люди? Чего они хотят? И где его чемоданчик? А бластер? И он захныкал:

– Гоша маленький... Гоша маленький... А маленьких... Маленьких нельзя обижать!

Он вертел головой, юлил всем своим сухоньким неразвитым тельцем и пытался выплюнуть насильно сунутые ему таблетки, но ему крепко зажали нос и губы, так что невозможно стало дышать:

– Нельзя!.. Нельзя! – мычал он, сопротивляясь изо всех сил. – Я не Гоша, я журавль. Они опять... опять всё перепутали!.. Всё... всё перепутали!

– Ах, вот как! А где ж в таком случае Гоша?

– Он в изоляторе! В изоляторе!

– Совсем уже интересно. Гоша, выходит, в изоляторе, а ты тогда кто?

– А я?.. Я журавль! Мне надо лететь! Лететь! Меня там ждут!

– Ага, ждут его! Ну а как же! Ну и куда ты собрался лететь?

Голос был женский, властный. Причем очень и очень знакомый, как и окно с решеткой, как и клен за ним, как и постель, в которой он проснулся, как и нетронутая кровать напротив. Кто бы это мог быть, пытался он угадать.

– В теплые страны! – закричал он запальчиво. – В теплые страны!

– Ну что ж, лети, лети, – продолжал голос. – Никто не заплачет. Дураком больше, дураком меньше! Слушай, а может, мы ему укол сделаем, а, Гена? За-

садим ему в одно место пару кубиков сульфазина?.. Вот что, дружок, стягивайка с него трусики, а я пока поставлю кипятиться шприцы. Может, тогда научится себя вести.

Мальчик вытаращил глаза. Он узнал их. Это были медбрат Гена Топорков, бывший борец, чемпион области, как про него говорили, и заведующая терапевтическим отделением Маргарита Васильевна, которая страсть как любила назначать уколы и пичкать его, Гошу, всякими горькими-прегорькими лекарствами.

– Нет, только не укол! Только не укол! Лучше уж таблетки!.. Нет-нет! – В больших и испуганных глазах его показались слезы. – Гоше от уколов больно! Очень и очень больно!

– Вот горе-то, а! Ну тогда пей, пей, тебе говорят. До конца! – И мальчику ничего не оставалось, как покориться и произвести из стакана, который ему поднесли, несколько крупных и судорожных глотков. Только не сульфазин, только не сульфазин! Внутри у него всё трепетало, горело. Сульфазин – это страшно. Его колют непослушным, а еще нарушителям распорядка, кого поймали на побеге. После него невозможно пошевелиться, как если бы тебя сковали, каждое движение отдает мучительной болью, и пытка эта продолжается долго, очень и очень долго... Лучше бы он не просыпался. Ах, лучше бы не просыпался. А ведь как было здорово: море, крыши, вечерняя заря, платаны... Так было красиво!.. Так красиво! Но им этого не понять. Они ведь другие. Они спятившие, они просто сумасшедшие...

– Бластер! Мой бластер! – снова захныкал он, сообразив, что с приемом лекарства покончено и укол сульфазина ему уже не грозит.

– А вот Гоша помоеся, – мягко и доверительно пропел над ним голос заведующей, – и Лилия Ивановна вернет ему его табельное оружие. Ну что, Лилечка, вернете?

Гоша оцепенел. Сердце его взволнованно забилося. Пока он сопротивлялся действиям ненавистных ему заведующей и медбрата, он и не заметил, как в палату вошла молодая и крепкая женщина, живот которой выдавал ее беременность.

– Ну а как же! – сказала она. – Оружие – это святое... Можно забирать, Маргарита Васильевна? – спросила женщина, и широкая, белозубая улыбка озарила ее красивое, полное лицо.

Это была она, нянечка, его родная, его Лиля Иванна, за которую бы он и жизни не пожалел.

Гоша захныкал, попытался высвободиться из рук медбрата и потянулся к ней, к нянечке, которая стояла напротив и улыбалась, и вдруг не выдержал и разревелся, горько-горько, без удержу, совсем как ребенок, но то были уже слезы счастья, слезы, которые хлынули сами собой и от которых на душе становилось так радостно, так радостно, как если бы его угостили мороженым, которое ему было запрещено из-за вечных проблем с иммунитетом.

Его передали с рук на руки.

– Ну вот еще, рева! Никакой благодарности, – хмуро заметила заведующая. – Лечить их, лечишь...

Лилия Ивановна привычным движением сунула его дистрофические ноги себе под мышку, голову его положила на широкую и полную грудь свою, покрытую поверх халата клеенчатым передником, словно головку младенца, которого собиралась кормить, и проговорила, целуя мальчика в затылок, а после и в висок.

– Ну что, мы пошли?

Медбрат Гена открыл им дверь, они вышли в коридор и направились в моечную.

– А вы Гошу любите? – заливаясь жаром смущения, тихо замурлыкал Гоша, наконец успокоившись в теплых и заботливых объятиях женщины.

– А кто же Гошу не любит? Гошу все любят, когда он хороший, когда он послушный...

– Гы-гы, – смущенно прятал глаза Гоша.

Лилия Ивановна заботливо поглаживала ладонью горбатую спину мальчика, прижимала его к груди и не подозревала, что Гоша далеко не проста, как только она берет его на руки, начинает интересоваться, любит ли она его.

В объятиях Лилии Ивановны, в объятиях женщины, в невызревшем тельце его с некоторого времени стали просыпаться такие же невызревшие, как и он сам, мужские гормоны, и гормоны эти от соприкосновения тельца его с пышной и мягкой грудью Лилии Ивановны вызвали внутри у него ни с чем не сравнимое ощущение томительного и сладкого беспокойства. Он всё теснее и теснее зарывался головой в грудь нянечки, и блаженство, которое он испытывал, было всё более и более нестерпимым, всё более безумным. В страшном замешательстве поглядывал он на лицо ее, чувствуя, как всё внутри у него изнывало, выматывалось. Руки его сами собой потянулись вверх. Он попытался обхватить шею женщины, но вдруг чего-то испугался, и из глаз у него снова ручьями потекли слезы

– Глупенький, чего же ты плачешь? Разве тебе не нравится, когда ты умыт? Когда ты чистенький, хорошенький? – улыбалась нянечка.

К слезам мальчика примешивались и потоки слюны, произвольно стекавшие у него изо рта и устремлявшиеся вниз по буграм и впадинам ее клеенчатого передника. В ком-нибудь другом беспомощные и болезненные эти выделения, может быть, и вызвали бы неудовольствие или неприятие, но Лилия Ивановна за долгие годы работы с подобными больными привыкла ко многому и многого научилась не замечать.

Мальчик же всё закидывал и закидывал голову и всё не мог наглядеться на нее, на женщину, к которой питал нежные и страстные чувства: на ее подбородок, обложенный слегка уже рыхлой, белой, словно поднявшееся тесто, кожей, что нависал над ним двумя пухлыми складками, на родинку на правой стороне подбородка, похожую на сизую большую изюминку, из которой вились три волоска, на ее розовые, большие, слегка подкрашенные губы. Ему уже приходилось кое-что слышать о близости между мужчиной и женщиной. И он полагал, что в эти минуты между ним и Лилией Ивановной как раз такое и происходит. И еще более и более убеждался в этом, когда вдруг с изнемогающим и колотящимся от счастья сердцем сталкивался с ней глазами, видел ее улыбку, обращенную к нему, ее лицо, чересчур близко склонившееся над ним. В прекрасных светлых глазах ее, затененных черными, подведенными ресницами, он, Гоша, вдруг обнаруживал себя, словно купающимся в большой и радужной их голубизне.

Лилия Ивановна потрепала ему волосы и снова поцеловала.

Мальчик притих.

– Вообще-то с поцелуями надо быть поосторожнее, – заметил он, размазывая остаток слез по лицу.

– Почему это? – удивленно посмотрела на него Лилия Ивановна.

– А разве дети не от этого?

Нянечка усмехнулась.

– Вообще-то ты прав, – проговорила она после некоторых раздумий.

– Хватит пока и одного, – проворчал Гоша, глядя куда-то в сторону. – Надо и самим пожить. На рынке всё так ужасно дорого. Цены какие! Растут и растут. Растут и растут. Прямо как с ума посходили. В магазинах, так и вовсе не подступиться.

Разумеется, ему, не покидавшему пределов интерната, не приходилось бывать ни на рынке, ни в магазинах. Но он всё знал. Так как все вокруг, от главврача и до уборщицы, только об этом и судачили.

Нянечка рассмеялась, после чего звучно запечатлела еще один поцелуй, на этот раз у него на щеке.

– Лилечка, што это ты? Ты бы уж не поднимала его. Шкожо уже в деклет, – осуждающе прошепелявила ввалившимся ртом старуха уборщица, встретившаяся им в коридоре

– Ничего, баб Ньюра, он легкий, – всё еще смеясь, ответила нянечка.

Гоша хотел было рассказать ей о чемоданчике, о том, что, если бы у него всё получилось, он не возражал бы и против второго, но так как они уже входили в моечную, сверкнувшую кафелем и сливочной белизной унитафов и ванн, где его дожидались личный горшок и ужасающе неприятные водные процедуры, благоразумно смолчал.

Он еще и теперь чувствовал легкий страх, оказываясь в этом специфическом помещении, а совсем недавно сердце его просто замирало от ужаса при одном только упоминании моечной, главным образом из-за унитафа, к которому его упорно в течение целой недели пытались приучить, считая, что он уже вышел из детского возраста и пора уже ему становиться взрослым. Он пугался его больше, чем Фюрера, больше, чем уколов сульфазина, пугался клокочущего и ревущего у него под ягодицами потока воды, спущенного с бачка, пугался, что его унесет, и в ужасе спрыгивал. А так как ноги у него с рождения были атрофированы, если нянечка не успевала его перехватить, то летел напрямик на пол и бился о него лицом. На крики сбегались все, кто только мог. Первой в дверях оказывалась уборщица, вездесущая баба Ньюра, немедленно бросающая швабру и кидаящаяся на помощь. «Шталина на ваш нет!» – шепелявила она устрашающе. Через минуту-другую, отчаянно стуча каблуками, прибегала заведующая, Маргарита Васильевна, за ней дежурная медсестра, последним вваливался по-медвежьи неуклюжий медбрат Гена. В конце концов, на одной из таких спонтанных встреч было принято решение не отлучать его пока что от горшка, по крайней мере еще на полгода. Так будет спокойнее и Гоше, и Лилии Ивановне, да и всему персоналу.

Возможно, об этом счастливом для него событии подумывал и Гоша, сидя на горшке и озираясь назад, на нянечку, на Лилию Ивановну, влюбленным и сияющим от удовольствия взглядом, на руки ее, которыми она придерживала его за плечи.

Вошла медсестра и оставила на столике для лекарств стакан с фурацилином.

– Не забудьте прополоскать горло.

– Спасибо, – откликнулась нянечка.

Им-то хорошо, подумал Гоша, провожая глазами скрывшуюся за дверью стройную девичью фигурку в белом халате. Ходят тут... И ему стало грустно. В памяти его всплыли кожаный чемоданчик, набитый драгоценностями, журавлиные ноги... Эх, а ведь всё могло быть иначе, вздохнул он, поглядывая вокруг. А теперь вот горло им полоскай...

